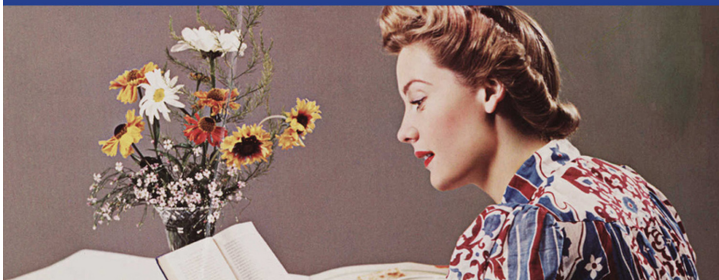




# Галина Щербакова

Лизонька и все остальные

*ФТМ*



# Галина Николаевна Щербакова Лизонька и все остальные

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=159260](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159260)*  
*ISBN 9785446718566*

## **Аннотация**

Роман Галины Щербаковой «Лизонька и все остальные» – это история XX века, показанная через призму жизни одной семьи. На первый взгляд, члены семьи разобщены: у каждого своя судьба, свои представления о справедливости. Но невидимые нити все-таки связывают этих людей. Доказательство тому – провидческий дар, который передается по наследству.

# Содержание

1	5
2	19
Конец ознакомительного фрагмента.	35

**Галина Щербакова**

**Лизонька и все остальные**

© Текст. Г. Н. Щербакова, наследники, 2021

© Агентство ФТМ, Лтд., 2021

**\* \* \***

# 1

Самое подлое – что это всегда ни с того ни с сего. А она так изнутри устроена: все что угодно, только не неожиданность. Не потому, что она не готова к неприятностям. Господи! Наоборот! Она как раз к ним всегда готова. Как тот идиот-пионер. И сроду не понимала людей, которые чирикают, как птицы, и не ждут несчастий. Она их ждет. И именно потому, что ждет, считает гнусностью с их стороны испытывать ее еще и *такой ерундой*. Зачем ей, и так готовой ко всему, еще и проверки на определение севера и юга? Она что – капитан дальнего плавания? Но время от времени на ровном, можно сказать, месте это происходит: все вокруг нее меняет свои места. Север становится югом, восток – западом, верх – низом, и сама она оказывается неизвестно где, а отсюда и неизвестно кем.

Чего она боится больше всего, когда это случается? Она боится, что, испугавшись, не вспомнит, как из этого выходить. А выходить надо сразу, мгновенно, ни в коем случае не застревать в этой неопределенности. И уж тем более – не дай бог! – не увлечься исследованием странного перевернутого мира. Есть такое чувство, есть! Страшно, пот по спине крупными каплями, крик уже движется к горлу – и одновременно хочется остаться в этом «черт-те где».

Вот почему быстро делается так: плотно закрываются гла-

за и головой встряхивается так, чтоб взвизгнули мозги. Потом – обязательно! – будет тошнить, пойдут перед глазами, которые уже откроешь, круги-разводы, но это все уже в четко ориентированном, тебе знакомом месте-времени.

Вот и на этот раз. Стояла на коленях, ножом копала землю. Все слова, что есть в русском языке, о себе на коленях говорила: и дура, и кретинка, и психопатка, и малахольная, рыла землю и говорила, выла и говорила. Наконец закопала то, что принесла, травой присыпала, вздохнула, как шахтер в забое, стала подыматься с колен и... Батюшки! – ничего не понимает и места не узнает. А тут еще положение – на полуколенях, и посадочка вокруг не то что шумит, а так, чуть постанывает, а воздух кругом стоит плотный и слипшийся. Такого она сроду не видела: как в воздухе азот с кислородом и водородом слипаются и искрят в месте слипания, и становится непонятно, как этим можно дышать? И сразу начинаешь задыхаться от спазмов. Она так тряхнула головой, что упала лицом в землю и уже на земле почувствовала, как все вокруг нее перестроилось. Приподнялась – все уже на месте. Воздух разлился, чуть-чуть где-то нехорошо поблескивает, но уже не страшно его вдохнуть. Для верности приложила руку козырьком – все правильно. Там – ее бывший дом, там – электростанция, а там – шахта, а рядышком кладбище. Все на месте. А под коленями – зарытые «буденовки», факт ее идиотизма. Ну ладно, сказала себе. Сделала – так сделала. Жаль, что руки помыть негде. Второй раз идти проситься к

людям – нехорошо. И тут – надо же! – вроде как что-то пискнуло, и она пошла на этот непонятный писк, и пришла, оказывается, куда надо... Такой слабенький-слабенький вытекал из земли ручеек, можно даже сказать, не вытекал – а высачивался. Положила руки прямо ему на горлышко, и пошла обтекать ладони вода, ледяная и нежная. И косточки пальцев стали в воде белыми-белыми, а вены – синими-синими, и грязь под ногтями была какой-то детски выразительной. Все стало четким-четким, как будто те, от кого это все зависит, награждали ее определенностью цвета и формы за то секундное помешательство, когда она не знала ни где, ни кто, ни зачем.

Физически – из-за воды. Морально, ну морально из-за всего сразу. Что зарыла то, что должна была зарыть, а поставила то, что должна была поставить. Что легко справилась с этим своим не знаю – где, не знаю – что. Что сейчас вымоет руки и уедет в вагоне СВ, будет стоять у окна и чувствовать себя полноценно.

Господи! Еще утром вообразить себе такое состояние было невозможно. Ее тут все сразу стали тюкать, чего только не выслушала.

Попросилась во двор, чтоб сполоснуть огурцы, и пошло! Вы с кладбища, да? А кто у вас там лежит, что-то мы вас не припоминаем в личность? Дедушка с бабушкой? И вы на них тратились с памятником? Ну, женщина, вы даете! Лучше б уступили это место молодым. Теперь это дефицит... Знаете,

сколько теперь в шахте гинет, а места все меньше и меньше. Откуда ж вы можете это знать? Я ж вам только сейчас про то говорю. Отсюда родом? Все равно не знаете, при вашем времени такого еще не было, это сейчас жизнь стала – тьфу! Копейки не дадут и не возьмут. И у вас так? А откуда вы будете? Ну да, ну да... У вас там тоже ничего хорошего... Мы думали, может, вы из Москвы... Хотя что Москва? Тоже хоронить негде... Там всех теперь палят... Ну и правильно... Сравнить, сколько земли идет?... На гроб или на горшочек... Это и в собственном дворе можно закопать... Или на балконе держать... Это я шучу... Когда живешь рядом с кладбищем, то развивается юмор... Не верите? Чистая правда, женщина, чистая! Мы тут все Жванецкие и Хазановы... А как выживешь, если по пять раз в день – трам-там-там-там... Та-ра-рам-пам-пам-пам... Но вы все затеяли зря... Лишние, значит, деньги.

В очереди за водкой тоже шло дознание: зачем бывшим людям, от которых уже ничего не осталось (тут вникали в подробности – через какой срок от человека остаются одни кости, что из надетой материи выгнивает раньше и интересно, как ведет себя в таких случаях капрон), нужны памятники. Это даже нехорошо по отношению к другим старопохороненным. Получается, что памятный родственник воображает перед другими. «Женщина, не корчите из себя. Вы ничего к ним уже не чувствуете. Это вам надо показать». Не знала, как спастись, хорошо, увидела на прилавке мине-

ралку, спросила мужиков: брать? Да вы что! Это же для исключительно больных, а мы исключительно здоровые. Мы – абсолютно... Пришлось даже оправдываться, что она не подозревала их – ни боже мой! – в физической немощи. Какая там немощь! Пять бутылок на троих. Просто подумала – вдруг запить захочется?

Тут же услышала: женщина, девушка, как вас? Покупаете могильщикам? Берите самую дешевую водку, нечего их баловать... Приезжие любят ставить из себя, покупают даже коньяк... Но ведь нам с ними тут оставаться, как вы себе представляете, ваши покойники – последние на этой земле? Мы все завтрашние покойники, все в жизни под большим вопросом, а это под восклицательным знаком.

Самое непонятное, что ей хотелось длить эти случайные, а подчас и нахальные разговоры. Они ей казались исполненными смысла. Какого?! Что может быть дельного в трепотне очереди за водкой?

Потом она только что не облизывала грязь с бетонного параллелепипеда, который называется «памятник с мраморной крошкой и портретами», ей хотелось ощутить зубами, деснами, небом эту крошку. Дичь? Дичь... Кричало в ней высшее образование. Зато другая ее часть – необразованное естество, которое отвечает не за факты и знание, а за дрожание подбородка или набухание носа слезами, – та часть говорит: ешь эту землю.

Ничего тут не поделаешь – естество в ней сильнее. Хотя

она научила глаза не плакать, нос не... Эта бездарнейшая часть человека, этот не поддающийся воспитанию и дрессуре отрок – с ним может быть всякое: краснение, синение, разбухание, у нее там собираются слезы, будто знают, что в глаза им дороги нет. Вот они и клубятся в носу, бывает, и булькают, и с этим – ни-че-го! Разве что намордник... Она почувствовала приближение носовых слез – соплей, дура! – а рядом были эти мужики, и было у них прекрасное настроение. Один из них – философ. Он тронул ее локоток. Дама (во!), эта работа наша у вас – хорошая. Памятник – это когда уже не болит. Это – давайте подведем черту. *Итого*, и новая страница. А вот когда живой покойник только-только, тут, конечно, держишь себя в руках, в смысле слов и выражений. Бывают такие крутые слезы и такие крики, что думаешь – все! Меняй профессию. Это когда дети или до сорока. Но в целом – привыкаешь. Находишь лицо, которому не жалко, а даже весело, и на него ориентация. А ваш случай – это подарок. Не обижайтесь. Сколько лет прошло, и они вам не дети. Нормальный же расклад – смерть от старости. По природе... Так что, дама, оттирайте на портретах личики и давайте закругляться на этом мероприятии. – Да! Да! Я сейчас. Еще минуточку. Ну вот – слезы пошли из носа, хорошо, что она к ним спиной. А вместе со слезами подымалась в душе какая-то сладкая щемящая радость, слабость, а когда засияли на портрете дедулины глаза, она совсем не выдержала, жалобно вскрикнула и обхватила камень. – Ну, хозяйка, это вы

бросьте. Для вытья – темы нет... Займитесь лучше делом...  
Вон на том столике сделайте нам три конверта.

Ее с земли как ветром сдуло. Действительно, что это она решила подвывать, если самое время конвертов. С этими современными работягами – откуда они слова такие знают? – никогда ничего не поймешь. Ну и не надо. Она уже лет тридцать знает одно доподлинно – она ни в жизни, ни в людях ни бум-бум... Как она говорит: живу ощупью. Поэтому она еще раз протерла портрет на бетонном камне. Господи, какие ж у него удивительные глаза, у дедули. Сейчас и нет таких, сейчас вообще у людей нет глаз. Это точно. У людей теперь окуляры перископов, идущих непосредственно из внутренних органов, из желчного пузыря, например. Или из желудка. Бывает, и из прямой кишки. Люди смотрят исключительно потрохами. Тут у нее целая теория, почему так... И она ее может объяснить при случае. Вполне убедительно. Те, кому она это объясняет, ей только благодарны. «Мать! Спасибо. Сразу стало легче... Теперь понимаю – смотрит на меня больная почка, зачем же буду обижаться на ее крик? Я отворачиваюсь, и все. Могу и соответствовать и посмотреть на почку своим спастическим колитом, но понимаю, это уже некоторое хамство...»

Такой теперь юмор.

Она вошла в чужую ограду. Это тоже наше время – входить в чужое, как в свое. Хоть в дом, хоть в душу, хоть сюда. Все такое беленькое, ухоженное, не какие-нибудь бетонные

уроды-обрубки, тут стоял настоящий мрамор и сияла настоящая нержавейка, а столик у могилы и лавочки были из хорошего, выдержанного дерева... Хозяин всей этой красоты тоже был человеком с хорошими глазами. Умер он в 1953 году. Соломон Рубинштейн. Всего ничего было Соломону – сорок лет. Врач. Нет, она его не помнила, но суть смерти этого Рубинштейна в пятьдесят третьем в сорок лет, можно сказать, была абсолютно естественна. Это все равно как смерть во время «той испанки» или гибель в ашхабадском землетрясении. Это смерть в обстоятельствах, которые выше человека. У нас, к слову сказать, всю жизнь такие обстоятельства. Других нет.

Она резала колбасу, огурцы, облупливала яички.

Мысленно разговаривала с Розой. «А приют, – скажет ей, – мы нашли у Рубинштейна. – Беленький такой, дорогой приют». А Роза ей (О! Как хорошо она ее знает!): «Ты на каком слове делаешь ударение? Приют или дорогой?» – «Ты что, меня хочешь уличить в антисемитизме?» – «Ты спятила?» – «Я спятила, но все-таки?»

Точно так и будет... И она на Розины инсинуации не купится. Если ты дура, то я при чем? Хотя, да, последний приют сорокалетнего Рубинштейна был все-таки дорогой. И ухоженный. Тридцать лет здесь все протирают до блеска, а я со своей закуской-выпивкой. Прости, Соломон, за все прости... За пятьдесят третий тоже... Я тогда... Была, была ми-

нута... Поверила... Но и поняла, какая это все подлость, раньше, чем объявили: подлость. Зачти мне это, Соломон. А тут я все за собой уберу, даю слово, до крошечки...

Лопаты у мужиков зазвенели веселей, у них, у лопат, появился смысл деяния. Светлое будущее. «Откуда он знает слово «куверт»?» – думала. Ну во-первых, ответила сама себе, дерьма пирога знать любое слово... Я тоже уже сто лет знаю слово «убиквисты». Оно мне явилось во время родов. Мне казалось непристойным и недостойным – кричать. Молчаливая мука в моем представлении считалась доблестью. И я лежала, никому не нужная, почти трое суток, чуть не сгубила Аньку своей принципиальной гордостью. А когда мне совсем поплохело, то стали мне являться слова в единстве своего звучания и написания. Откуда-то из-под каталки острым плечом выскочила *уключина* и стала не то покалывать, не то покусывать. Типичная «оце така мара». Так говорил родной мой дедуля, когда надо было определить нечто, материалистическому сознанию чуждое. И пишла, говорил он, оце така мара.

Вот и у меня она пришла.

И когда я застонала от пыток *уключины*, явились не запылились остренькие, ладненькие, черные с серебром *убиквисты* (почему оба слова были на «у»?). Они шуганули *уключину*, плотно «уби к вистам» зависли надо мной, дышать через них было трудно, уже даже и не продохнуть, но они хоть не кусались, спасибо большое.

Слава богу, шла мимо поломойка со шваброй, посмотрела на меня и закричала: «Вераванна, а эта мамаша уже синееет». Потом поломойка положила свое пролетарское орудие труда и приняла в руки другой угол свернутой в жгут простыни. Первый держала Вераванна. Убиквисты и уключина ни на шаг не отходили. Еще бы! Мне бы тоже было интересно посмотреть, если бы это не из меня, а из кого другого выдавливали ребенка.

Теперь «убиквисты» время от времени всплывают в памяти. Ни с того ни с сего.

Убиквисты – у, бисквиты! Рифма для авангардиста. А бисквит оказался черствый и был на этом рубинштейновском столе определенно лишним... Кто после водки с огурцом будет есть убиквист с изюмом?

Они подошли весело – могильщики. Или как в данном случае их называть? Случае установления памятников?

– Хозяйка, – сказал тот, кто знал лишние слова, – а «буденовки», если хочешь, мы заберем...

«Буденовками» они называли зеленые усеченные пустотелые конусы со звездочками, которые сняли с могил бабули и дедули. Сейчас они валялись на дороге, замшелые, повернутые к небу черной внутренней пустотой.

– Нет, – почему-то решительно сказала она. – Нет...

Они с удивлением посмотрели на нее: хорошее ведь было предложение – увезти металлолом и кинуть где-нибудь, чтоб не валялся под ногами.

– Я сама уберу, – вежливо так сказала. – Угощайтесь, пожалуйста!

– Ну, это не надо повторять, – засмеялись мужики.

Она оставила их на территории Рубинштейна. В своей ограде со свеженьких бетонных параллелепипедов на нее ясно смотрели дедуля и бабуля. И было здесь празднично, светло, и даже воробьи вспархивали интеллигентно.

«Родненькие мои, – сказала она им. – Это я, ваша внучка Лизонька. Правда же, так лучше?»

Конечно, это был глупый вопрос. Как может быть не лучше то, что стоит пятьдесят четыре рубля – это без работы, без того, что еще сверху, без закуски и выпивки, – того, чему красная цена рубля три, не больше. Собственно, истинной стоимости «буденовок» Лизонька не знала. Их уже не ставили даже беднякам из бедняков. Даже этим ставили теперь бетонную стелочку за семь рублей. Дешевле – ничего. Конечно, возле похоронного бюро крутились жучки, предлагали кресты. Всякие – от мраморного до собранного из разных металлических трубочек. И была у Лизы идея, была: поставить кресты. Тем более что Лели уже нет, так что скандалить было бы некому, но она не решилась. Именно потому, что жучки. Почему-то хотелось законной линии. Справки, квитанции и печати, хотя, если разобраться, – такая это чушь! Но представилось, что не она дедуле ставит памятник, а он – ей. Как бы было? Так бы и было – по правилам. Через кассу, через квитанции, чтоб было, что предъявить при случае. Она

сама хранит счета всей своей жизни – зачем, спрашивается? Кто их когда спросит? Неизвестно. Но квитанции, что она оплатила свое обучение в университете, а тогда за это платили, у нее есть. И много чего другого есть тоже. Теперь к непотребной куче всякой документации на оплаченное право жить, сидеть, стоять, ходить прибавятся и эти два памятника «бетонная плита с мраморной крошкой и портретом». И если явится некто с ломиком, чтоб устроить выковыривание, она тут как тут представит ему все бумажки и обоснования, и пошел-ка ты вон с ломиком. Ищи дураков! Поэтому и с буденовками нельзя поступить абы как. Взять и выбросить. Им надо найти правильное место, чтоб, как говорится, комар носа не подточил. Выбросить! Как же можно выбросить то, что стояло столько лет и выполняло назначение? Нет, дорогие товарищи! Так дело не пойдет. Абы как она не может.

Что-то ласковое тронуло ее за плечи. Лиза понимала – ветер, он сегодня весь день такой, нежный и случайный, но так думать не хотелось. Хотелось думать, что услышана, что это *оттуда* дедуля признался, что все видит, а главное – одобряет ее.

– Значит, оставляете «буденовки»? – снова спросили мужики.

– Да, – ответила она. Господи, что я с ними буду делать?

– Ну тогда убирай, хозяйка, а то еврей рассердится.

Она достала из сумки конверт, передала старшему, тот старательно пересчитал деньги, смял конверт и выбросил, а

она, дура, специально его покупала, чтоб пристойней выглядело.

Конечно, бисквит остался нетронутым, и яички тоже. И колбасу не ели, и она успела за десять минут стать серого цвета. Лиза старательно убирала все, чтоб не осталось следов на чужой территории, старательно заперла калитку.

– Миленькие, я пойду? – виновато спросила у своих портретов. И снова показалось, что кто-то тронул ее за плечо, значит, разрешил. Иди, мол, с богом!

В одной руке пакет с остатками еды, через плечо сумка, в другой – за две звездочки прихваченные «буденовки». «Мы красные кавалеристы, и про нас былинные речистые ведут рассказ...» Что еще может прийти в голову, если держишь в руках звезду? Главное, куда я это дену? Куда я это несу? Вот дуры кусок, вот дуры кусок... Господи, прости меня, грешную, но куда это деть, куда?

Решила дойти до посадки и там прикопать «буденовки», никто бы только не застал ее за этим делом. Слава богу, есть ножик; главное, чтоб звезду не было видно, нехорошо, если она будет торчать из земли. Стояла ведь столько времени ни в чем не виноватая.

Ну что я за бестолочь такая, ну куда я с этим иду, думала Лизонька, идя в посадку и ища кусты погуще и землю помягче.

А звездочки, заразы, кололись...

...Сейчас же они лежали в земле, ну, топырились, конеч-

но, глубоко ли вреешься при помощи столового ножа? Со-  
чащаяся из-под земли вода омыла ей руки. Искрил воздух.  
Неужели опять норовил слипнуться? Этого еще не хватало,  
бежать надо скорей отсюда, скорей, скорей, а то мне уже и  
чушь кажется, будто там за пригорочком человек стоит и  
смотрит, паразит, что это я в посадке делаю?

Ой, ой... Какой же это паразит? Это дедуля стоит, я с  
этими «буденовками» совсем спятила, своих не узнаю. Ишь!  
Азот с кислородом у меня слепился! У меня мозги слепи-  
лись, у дуры, вот что...

Дедулечка! Ну закопала я твои буденовки, закопала... На  
переплавку, что ли... лучше? Ну не знаю я, что лучше... Не  
знаю... Не хватает у меня ума.

И не смотри на меня так, а то я заплачу. Не смотри...

## 2

Когда родилась Лизонька, Дмитрий Федорович ушел на пасеку, надел сетку, чтоб никто не видел, и заплакал. Он боялся Нюры, которая сказала бы: ой, посмотрите на дурака, люди добрые, рассопливился от радости! Ну как ей скажешь, что плачет он не от радости, а от страха? Хоть караул кричи, а боится он смотреть на дытыну. Боится *увидеть*. Хотя сколько вот так в сетке можно просидеть на пасеке? Ну час. От силы... Дальше уже подозрительно. И Ниночку нельзя обидеть, подумает, что дед не рад внучке, расстроится, бедняжечка, а у нее сейчас прямая зависимость молока от нервов. А, не дай бог, не будет молока, чем кормить? Такой кругом голод, деревня криком кричит. Значит, хватит прятаться, надо идти, смотреть деточку, и пусть ему пошлетса небесное благословение ничего не увидеть, кроме того, что видят все.

Девочка была сморщенная, красненькая, и носик дулечкой, губешку нижнюю под верхней не видать, а глазенки – крест святой – разумные-разумные и по сторонам смотрят. Ни-че-го больше! От счастья, что ничего больше, он выскочил на крыльцо и протянул руки вверх, и горлом вылетел из него крик радости и благодарности. Хорошо, что дом их был тогда последний на новой улице имени Котовского, последний из пяти новых жилкооповских домов, построенных на-

зло всем врагам народа после знаменитого шахтинского дела. Прямо от их калитки начиналась дорога, что вела к железнодорожной пасленовой посадке, а за посадкой уже шло кладбище. Это к тому, что благодарственный крик Дмитрия Федоровича слышать никто не мог, это был крик, что называется, в чистое поле. И когда он уже прокричал и отпустили его страх и ужас, он *увидел*, как вдалеке, словно в дымке, напрямик к посадке с чем-то тяжелым в руках торопится какая-то чужая женщина... Странное дело, подумал он, откуда ж это она идет? С кладбища, что ли? Он козырьком приложил руку, чтоб не бликовало, а уже никого не было...

Тоненько защемило в сердце, и пошел перед глазами фиолетовый круг, поплавился, поплавился и исчез...

«Может, цыганка? – подумал он. – Их тоже от голоду стало бродить больше... Как муравьи расплозились... Значит, за посадкой у них табор. Ждите теперь воровства. Вот когда плохо, что последний дом... Надо бы собаку».

Тут надо отступить назад, в то время, когда Дмитрий Федорович еще не был дедом, а был вполне бравым мужчиной с аккуратными усами под носом и в пенсне. Этим он от всех отличался в их шахтерском поселке, который частично вырос из деревни, а частично возник благодаря новым шахтам. Усами и пенсне Дмитрий Федорович определил свое место в союзе города и деревни. Он – городской. Кто это из деревни носил пенсне и тем более выбривал себе под носом черный квадратик, который потом, впоследствии навсегда опозорил

себя, будучи прилепленным на лице людей не просто противных, вроде Молотова, а законченных гадов и палачей, как Гитлер. Ни один из уважающих себя мужчин после этих последних таким макарон уже не побреется и правильно делает. Просто противно ему будет, и все. А тогда, когда Дмитрий, даже еще не Федорович, а просто Дмитрий, а для некоторых Митя, Митеха и даже грубо – Митяй, надел на люстриновые рукава пиджака сатиновые нарукавники и откинул косточки счетов слева направо, тогда закрепить это положение за казенным столом бухгалтерии шахтоуправления надо было чем-то очень убедительным. Это были усики и, извиняюсь, пенсне. Ну, сейчас бы сказали просто и ясно: пижон. Но тогда такого слова никто не знал, во всяком случае в их полудеревенских краях. Там сказали иначе: ставит из себя.

Так вот, он пренебрег осуждением примитивного народа и продолжал «ставить из себя», и, как это бывает, все пошло от внешнего к внутреннему. К такому его облику все привыкли, как-то естественно стало называть Митьку Дмитрием Федоровичем, тем более что со всех других сторон он был человек – не подкопаешься. И не сбросит, и деньги одолжит, если что, и с начальством гордый, и с уборщицей первый «здравствуйте вам». Так что жил да был выделяющийся усиками и пенсне вполне хороший человек, что лишний раз доказывает первичность внутренней сути над внешней формой. Одним словом, как бы уже теперь сказали, был бы человек хороший, а там он пусть хоть что носит. Хоть монокль или там пласт-

рон. Хотя как это можно носить в советское время? Взять, к примеру, пластрон... Нет, не будем его брать... Черт с ним. Это нас уведет не в ту сторону, нам сейчас из шахтерского поселка и от Дмитрия Федоровича нельзя ни на шаг, если мы хотим что-то понять во всей этой истории.

Значит, так. Живут бухгалтер Дмитрий Федорович Рудный, его жена Нюра и их дети – Ниночка, Колюня и Леля. Живут себе, как все, довольно нище, но, слава богу, Нюра без фокусов, держит корову – уже легче, десяток кур, поросяток... То да се с земли, с огородика. В смысле одежды, конечно, едва-едва, но тогда люди были оборотистые и умели лицевать вещи, по много раз чинили обувь, носили галоши, так что не хуже других жили, но и не лучше.

Когда дети стали подрастать, стали думать, а чем они будут заниматься, к какому делу их приспособить? Нюра – простой человек: как будет – так и будет, разве ее жизнь кто планировал? А Дмитрий Федорович думал о будущем серьезно. Он исходил из чего: если произошла революция и это, судя по большой крови, надолго, то надо бы детям получить образование получше, чтоб двигаться с передовыми эшелонами. Короче, никакого другого поворота в его мозгу не произошло: надо детей учить. И он – Дмитрия Федоровича имею в виду – свернул себе на этих мыслях мозги. Во всяком случае, стал он плохо спать, а в бессоннице стала ему видеться мать – например, бабушка в нехорошем виде. Сто-

ит она будто в огороде, пальцами оттопырила юбку и мочится стоя. И хохочет при этом. Тут все – брехня и обида. Бабушка его такая гордячка была, такая была неприступная и чистоплотная старуха, что вообразить ее в такой позе было просто стыдно. И хохота ее – ядовитого, с подковыркой в самой интонации – он тоже сроду не слышал. Она не то что не смеялась – не улыбалась даже. Она считала это ниже своего достоинства.

Виделись ему и другие люди – странно виделись, как бы не в себе. Он тогда даже заварил себе смородиновый лист, но его сильно пронесло, что очень удивило Нюру. Она в смородину верила как в средство от всех болезней. Ну ладно... Эти все видения Дмитрий Федорович сам для себя называл «оце така мара», потому что как-то это определить надо? Искал определения у Гоголя, у того всему можно найти определения. Но Гоголь только распалил воображение, а объяснения не дал. Однажды такое привиделось, что как ошпаренный выскочил из кровати и кинулся бежать по улице в исподнем. Нюра криком зашлась, пока его догнала, и вернула. Он ей сказал: плохой сон. Вроде дети умерли, а она радостно так: вот, мол, дурачок, это ж для детей – лучший сон, это ж значит – жить им и жить. «Я прямо радуюсь, когда во сне хорошо. Это ж к счастью, Митя, гробы там, покойники... А еще к перемене погоды...»

Вроде успокоился. Но когда в следующий раз уже не во сне, а когда он сидел на работе и сводил балансовый отчет,

и на него накатило, он понял – это не сон. Это *знание*. Он теперь знает, как будут умирать его дети. А через какое-то время возьми и родись Танечка. Он ее категорически не хотел, потому как три видения ему уже были. Именно до Танечки он стал погуливать на стороне, чтоб уберечь жену от новой беременности. Погуливал тихонько, осторожно, ровно столько, чтоб не мучиться телом. Но спрятаться в их поселке ему не удалось. Нюра, простой человек, не знала другого способа привязать мужа крепче, как родить Танечку, то есть поступила именно так, как он больше всего боялся. Он тогда взял запеленатый кулечек в руки, в нем девочка-младенец, вся-вся голубенькая от мертвой крови, в бумажных кружавчиках вокруг личика. Он тогда чуть криком не закричал. Девочка же хлюпнула носиком – господи, живая. И он стал трястись, просто трястись за ее жизнь. Выражалось это странно – в слезах. Все на них тянуло. У Нюры же свои размышления: грешила на «ту лярву». Даже устроила слезку по всем правилам частного сыска, но факты не подтвердились, Нюра совсем запуталась в собственных мыслях и чувствах. Танечка же возьми и умри. Тут уж не до лярв, такое горе, и именно тогда он тоже решил умереть.

Уже несколько лет он жил со знанием смерти троих своих детей, а смерть четвертой, Танечки, подтвердила, что знание – верное. Он понял – не может жить, не может. Выше его сил. Получалось ведь, что он кормит их, поит, ласкает для их страшного конца. Как же можно после этого жить, господи?

В летней кухне он присмотрел потолочную балку, которая должна была выдержать вес его умершего тела, перекинул через нее веревку, приглядел чурбачок, на котором любил сидеть, растапливая печку. Встал на него, примерился. Получалось, смешно сказать, удобно. Напоследок на приготовленном для последнего стояния месте решил покурить на прощание. Тут и пришел к нему Колюня, сынок. Сел рядом, ножичком строгал себе для игры цурку и чирканул неосторожно по пальцу. То да се: йод, белая тряпочка, ах ты, бестолочь такая, ножик держать не умеешь. Да куда ты смотришь, мать, острое у тебя всюду валяется. Забыл и веревку, и балку, и чурбачок. Вспомнил только вечером и очень удивился, что забыл о желании своей смерти. Как же можно было такое забыть? Но факт оставался фактом – забыл. Носился как угорелый с порезанным пальцем Колюни, и все другие мысли прочь.

В летней кухне на балке болталась веревка и стоймя стоял чурбачок. Он тогда поднялся ночью с постели, а Нюра тут же схватилась, захлопала глазами. С той истории с лярвой Нюра была исключительно бдительна и даже, когда он выходил ночью в уборную, не спала, ждала, даже считала минуты. Дело в том, что лярва жила недалеко, и с нее станется прибежать к нему ночью. Так думала Нюра.

Он стащил с балки веревку, бросил ее в угол сарая, а потом даже присыпал углем, что уже было несколько глуповато. Но что такое эта глупость по сравнению с той, что он оста-

нется теперь жить, а значит, и готовить детей для трудного конца? А умри, к примеру, – тьфу, тьфу, тьфу, конечно, – Колюня сегодня от заражения, то была бы легкая детская смерть по сравнению с той, что его ждала. Обсудить, обговорить случившееся ему казалось очень важным, и это можно было сделать только с одним человеком. В Дружковке жил старший брат, умница, профреволюционер, с ним бы сесть и покалякать, но до Дружковки шестьдесят километров, а лошади у него сроду не было. Поезд же тогда еще не ходил. Ломиком только-только тюкали узкоколейку. Можно, конечно, было сходить и к попу. Но тут были особые отягчающие обстоятельства. Так как он за неимением других вариантов решил принять советскую власть, вместе с ней пришлось принять и обязательный атеизм. Поэтому, хотя поп и жил на соседней улице, Дмитрий Федорович, не любивший моральных неудобств, решил лучше дождаться брата. Или железная дорога, или какая-нибудь лошадка должны были возникнуть. И как в воду глядел: приехал из Дружковки брат.

Кинулись друг к другу.

– Митя! Митя!

– Никифор! Никифор!

Поздно вечером, когда уже отужинали и выпили графинчик настоянной на перце водочки, когда любимый дядя Никифор сыграл с Колюней в победу красных над белыми, а старшей Ниночке рассказал, что такое синематограф и интернационал, с Лелей попел песню «Гай, гай, гаю, гай весе-

ленький!»), они вышли посидеть на лавочке, и он, Дмитрий, рассказал Никифору об этом «странном обстоятельстве своего мозга». Все на словах выглядело глупо и необедительно.

– С чего ты взял, что старуха, которая умрет на голом полу, твоя Нинка? – резонно спросил Никифор. – Объясни мне, дураку, это материалистически. Ты когда-нибудь видел Нинку старухой? Дмитрий, я тебя спрашиваю.

– Конечно, не видел, – виновато отвечал он брату. – Скажешь тоже... Но вот знаю, и все!

– Не разговор! – отрубил Никифор. – Человек знает только то, что знает. Больше – нет!

– Но про Танечку я знал точно! – убеждал он Никифора. – Глазами все видел. Бумажные такие цветы. У нас их женщина одна вырезает для такого именно дела.

– Младенцы умирают часто, у нас еще не коммунизм, – как отрезал брат.

– Я видел, – тихо твердил Дмитрий.

– Вообразил на основании имеющихся материалистических данных, – Никифор уже начинал заводиться. – Ты, Дмитрий, ударяешься в мистику, а это – дело последнее... Может, у тебя и с Богом остались отношения?

– Не... Не остались. Я даже крест нательный выбросил, – отвечал Митя. – Но душа болит очень. Прямо аж мутит...

– Что болит? – спросил Никифор. – Повтори!

– Души, конечно, нет, это я так сказал, по-старому. Но сердце есть? Оно, значит, болит! В этом месте...

– Лечись! Ты видел в своем воображении каких-то умирающих старух, ну и что? Почему это тебя должно волновать?

– Так мучились девочки, так мучились... А Колюню вообще забили сапогами...

– Вот это и есть полное доказательство твоей дури. Забить сапогами? Так в двадцатом веке не умирают. Пуля... Бомба... Разрыв сердца... Подумай!

– Все так! – Митя совсем пожух от разговора. Легче не стало, а стало как-то бессмысленней... – Хотя почему бы и нет? Мало ли бандитов?

– Много, – согласился Никифор, – но с этим ведется борьба. И ты в нее активно включайся. Обстановку надо оздоравливать. Ты неправильно живешь, брат. Мещански... Эти твои настоянные водки и мягкие подушки. Не понимаю... Ты не устаешь, не валишься с ног... Ты включайся в жизнь не двумя пальцами на счетах, а полностью, без остатка и будешь спать как убитый. Без дурацких видений.

Митя хотел сказать, что страшное знание приходит к нему в самую бодрость и среди бела дня, но он решил – тема исчерпана. Он рассказал, Никифор не принял это всерьез, значит, один из них прав, другой – нет. Все-таки стало немножко легче, потому что теперь вероятность «его правды» была равна пятидесяти процентам. Уже лучше.

Перешли на другие темы. Никифор мучился тогда с принятием в душу нэпа, его просто корежило от новой политики, но он свято верил Ленину, а значит, надо было сомнение

души это перелопатить в положительное действие, потому что смешно думать, что ошибается Ленин! Пока же он страдал и сильно худел, что очень беспокоило Дмитрия, так и чухотку можно схватить, если работать, страдать и не питаться разумно, а по холостяцкой жизни.

– Ты женись! – говорил Митя. – В этом есть смысл хотя бы для питания.

Никифор смеялся.

– А потом пойдут дети, и начнет являться всякая чушь, как тебе. Нет уж! Свобода – это осознанная необходимость!

Уезжал он рано утром, все еще спали. Митя встал его проводить, Нюра привычно бдительно подняла голову, но, поняв, в чем дело, успокоилась. Можно было еще понежиться часок.

Никифор после сна был как-то особенно худ и мрачен, что совсем расстроило Дмитрия. Не дело, не дело... В чем только душа держится, если тела – нуль?

– Ну ладно, – сказал Никифор. – Я тронулся. Ты живи правильно, Дмитрий. Уставай.

Он развернулся к лошади, цокнул языком, и затрусилась линейка, затрусилась по кочкам и пыли.

Еще не успела она свернуть за угол, как Митя увидел: валится Никифор набок, а потом и вовсе падает наземь. Закричал не своим голосом Митя, кинулся вслед...

– Ты чего? – испуганно спросил Никифор, придерживая лошадку.

– Чего ж мы тебе варенья не дали? – придумал с ходу глупость Дмитрий, потому что надо было что-то сказать. – Наварили – девать некуда.

– Ё-мое! – сердито крикнул Никифор и шуганул призадумавшуюся лошаденку. – Ты еще мармеладу мне предложи!

Теперь Митя знал, как умрет брат. Он видел, как на его спине растеклось широкое, черное на восходящем солнце пятно. Тут надо сказать, что видения Мити были безгласные и бесшумные. Он только видел, но не слышал. В этом была некая трудность, потому что он, например, не знал, кого зовут умирающие дочери, и что они шепчут в свой последний момент, и какие слова кричит убиваемый ногами Колюня. И откуда был выстрел в Никифора, он не знал. С какой стороны света... Вот беда так беда. А ты, брат, говоришь – мистика... Пятно-то было липкое-липкое...

Нюра лежала высоко на подушках, розовая, чуть опухшая от сна, и улыбалась.

– Такой сейчас сон хороший видела. Будто волос расчесываю густой-густой, это к деньгам, Митя. А тут входит Ниночка и – не поверишь – вся, вся, извини, в говне, с головы до ног... Это тоже замечательно, Митя, к большому Ниночкиному богатству. Ой, как я люблю хорошие сны! После них так легко делается, так легко!

Нюра аж жмурилась от удовольствия.

– Учиться ей надо хорошо, а она ленится, – ответил Митя, удивляясь и потрясаясь человеческой природе. Кто им это

все показывает, кто?.. Сны? Что это все есть?

Три дня он ходил сам не свой – мысленно хоронил брата. Все сокрушался – а костюм у него смертный найдется, чтоб не стыдно было положить? Все-таки Никифор – человек непростой, революционер с девятьсот пятого года. Обувь тоже должна быть правильной. Сообразят хоронить в старом, а то еще и в сапогах. А туда надо в чистой обувке. В тапочках. Вот так размышляя, он навсегда распрощался с братом и даже успокоился. Поэтому Нюра через год очень удивилась, когда он задумчиво сказал:

– Могли б сообщить, где заховали. Большевики называется!

– Кого? – спросила Нюра.

– Да я все про Никифора.

– Митя! – закричала она. – Чего ж я про это не знаю?

Тут уже растерялся Митя. От своих слов как отопрешься, а двумя смыслами их не перетолкуешь...

– У меня есть опасение, – осторожно сказал он. – Давно не объявлялся.

Нюра замахнулась на него.

– Тьфу на тебя, тьфу! Ты накаркаешь, идиот, разве ж такое можно вслух!

А Никифор через какое-то время возьми и приедь. На той самой лошадке, такой же худой, вроде вчера был... Ниночка уже семилетку должна была кончать, но осталась на второй год, потому что все интересы лежали у нее в другом, чем

школа, направлении. Ваня Сумской, футболист и красавец, водил ее пару раз в чистое поле за терриконы, и приходила она оттуда в мятой и перекошенной юбке, в результате чего Колюня, младше ее на полтора года, по учебным классам ее догнал. Ниночка расстроилась, напилась каких-то таблеток. Нюра просто спятила от страха, а Дмитрий Федорович как раз был абсолютно спокоен. Знал, не умрет Нинка. Поэтому отношения к дочери не смягчил и всыпал ей как следует и за Сумского, и за отставание в учебе, и за таблетки. Ишь, распустилась дура! Какой пример Лелечке, которая в школу только-только собирается. Правда, она, умница, сказала ему:

– Я, папуся, буду учиться хорошо, меня никто не догонит! Так оно и было всю жизнь.

В этот трудный для семьи момент и возник Никифор.

– Что ты на меня смотришь, будто я с того света явился? – спросил он.

Митя тогда собрал все свои растроченные в воспитании детей силы и ответил:

– Посмотришь тут и не так...

Рассказал про неприятности с Ниной, Никифор взялся поговорить с девочкой, брату же попенял:

– Это результат вашего мещанства в семье. Результат отсутствия цели. Вы с Нюрой – люди без полета, а наше время требует труда и крыльев. Надо Нине идти на производство, рабочая среда свое дело сделает. Или в сельское хозяйство. Начинается коллективизация, Митя, новый замечательный

и заключительный этап революции. Кончились поблажки и отступления. Теперь прямая, и вперед.

Никифор был в этот момент даже красив своим вдохновением. Прошлый раз худоба и чернота заставляли думать, что и ест он плохо, и живет без пригляда, сейчас же на ум приходило другое: ничего ему такого и не надо, потому как счастлив он не куском хлеба, не новым пиджаком, а внутренним счастьем, что и есть главное. Так что сначала Дмитрий едва признал его как пришедшего от покойников, а потом подумал: эти худые и черные – они куда живучей и всех полных и розовых переживут.

Потом он снова провожал Никифора ранним утром, на этот раз уехал тот спокойно, от выстрела в спину набок не заваливался.

Пока Дмитрий шел в дом, он твердо решил: может, Ниночка и не лучшая дочь, а вот ломать ее жизнь через колено он не позволит... И не отдаст он ее ни на производство, ни в новую колхозную жизнь, это неправильно – девочек на тяжелые работы. В корне! У Никифора нет своих детей, поэтому он чужими так разбросался. Хотя какие ж они ему чужие? Племянники! Родней родных, тем более если своих нет! Но чего ждать от человека, который свою жизнь под ноги любой революционной идее бросит? Чужую жизнь тем более бросит! Может, в этом все дело? Раскидался, чернявый, раскидался! Моих детей не трожь... Как-нибудь сам дотумкаю... Ниночка, хоть и с опозданием, а кончит семилетку, пойдет в

контору. Им нужны делопроизводители, а она девочка грамотная, почерк у нее вообще каллиграфический. Для женского пола немало. А Колюню бы хорошо учить дальше, на инженера, он смекалистый, задачки у него от зубов отлетают... Про Лелю еще рано говорить, что там получится. Как она ему сказала: «Меня, папуся, никто не догонит!» Что же касается коллективизации, то, на его взгляд, это новое дело – дело темное. За одной кобылой всем кодлом?.. Что-то тут не так... Он не сторонник... Его отец был крестьянин, из бедняков бедняк всю жизнь, но скажи ему «объединяйся!», он же бы тебя двинул! Он как говорил: «Всем чтоб одинаково – дурь. Это нарушение законов природы. Природе нужны все. И богатые, и бедные... И хищник, и клоп, и райская птица. Все нужны в целом».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.